Внизу играют в подкидного
И пиво пьют. И только мне
Все кажется живым и новым,
Что ни является в окне.

И глаз циклопа-паровоза,
И зелень яркая сосны,
И сквозь колеблющийся воздух
Улыбка мутная луны.

И винегреты, винегреты
На горе матушки-цинги.
Цинги, которую поэты
Считают символом тайги.

И первым яблоком огромным
Меня встречающий разъезд,
Плодом тяжелым красно-темным,
Какого Ева и не съест.

А нам нетрудно соблазниться
И ледяной покинуть рай,
Хотя ждала бы нас больница
Или разрушенный сарай.

За этим яблоком чудесным
Мы в поездной летим ночи,
И, точно ритм неспетой песни,
Колесный ритм в висках стучит.

Иркутск, наш город деревянный,
Прелестнейшая из столиц.
Ты был землёй обетованной,
Важнейшей из моих границ.

И вот наивными стихами,
Размером пушкинской поры,
Мы славим зимнее дыханье
Зеленоглазой Ангары.

Мы не отдали моде века
Приличной дани. Старый ямб
И даже больше —
ямб-калека
Пристойней показался нам,

Чем всей тонической системы
Ступени, выкрики, курсив
(Уже давно изжитой темы
Опять врывается мотив).

А в ямбе есть такие свойства,
Родство с природой языка,
Где в нашей речи беспокойство
Легко врывается тоска.

Внизу играют в подкидного.
И пьют. Является в окне
Однообразие лесное,
Понятное до боли мне.

Все эти дали, лесосеки,
Кубаж, трелёвка, штабеля.
Приятней, право, человеку
Смотреть на голые поля.

Где милое ребячье сено
Прилично сложено в стога.
Там не покажутся олени,
Не разволнуется пурга.

Внизу играют в подкидного.
Им дела нет до сих красот,
До сих невиданных обновок,
Какие поезд мне несет.

Он спотыкается на стрелках,
На стрелках юности моей,
Когда мне не казалась мелкой
Любая из моих затей.

Когда, всей строгости мальчишьей
Стремленья жизни подчиня,
Я не казался вовсе лишним
Сиянью голубого дня.

А это что за возвращенье?
Поход неведомо куда.
Предсмертное передвиженье
Без тени, света и следа.

Внизу играют в подкидного,
Волнуясь, карты раздают.
Считают взятки, курят. Снова
Считают взятки. Пиво пьют.

Летят российские избушки.
Уже кончается Сибирь.
Сибирь, теперь уже старушка,
Раздавшаяся вдаль и вширь.

По всем статьям с землею нашей
Сибирь сравниться не могла.
У нас не сеют и не пашут,
У нас платочком только машут
Почти из каждого села.

Но славу темную Сибири
Давно наследовали мы.
И в этом — наше место в мире,
Значенье ссылки и тюрьмы.

Внизу поссорились мужчины.
Вагон, конечно, не для драк.
Но слышен грохот матерщины
И прерван подкидной дурак.

Мы задержались в Ярославле.
Некрасов? Волков? Чепуха.
Своих соседей не заставлю
Стряхнуть такое с языка.

Моряк увлекся модной пряжкой,
Блестящей пряжкой поясной.
Он хлопает себя по ляжкам
И вновь заводит подкидной.

А впрочем, просит папиросу,
И портсигар открыл сосед.
Он обращается с вопросом
К соседу — чей это портрет?

И бедный полустертый Гоголь,
Самолюбиво сморща нос,
Глядит и молит — ради бога
Не отвечайте на вопрос.

Луна какой-то пятой мастью
Вмешалась в состязанье тем.
Но знать, где счастье, где несчастье,
Дается далеко не всем.

И сумрак ветрами расколот,
И на колесах поездов
Ко мне подкатывает город.
Но я к свиданью не готов.

И сквозь безмолвие столицы
Я, бледный, из последних сил,
Перебираю чьи-то лица,
Явившиеся из могил.

Не для шпилей высотных зданий,
Подземных прихотей метро,
Я вёз мешок своих страданий
И отточил своё перо.

1953

«Вагонные стихи». Эта тетрадь, датированная 1954 г., содержит ряд записей 1953 г., в том числе о первой встрече с Пастернаком в Москве 13 ноября. Особенно важна запись фрагмента диалога, не вошедшего в воспоминания:

— Могу ли я вам помочь материально?

— Нет. Но у меня есть просьба — вот новые стихи — просьба прочесть.

Диалог фиксирует передачу «синей тетради» и отказ Шаламова от материальной помощи, которую он, вопреки мнениям некоторых мемуаристов, от Пастернака никогда не принимал. Очевидно, тетрадь была взята Шаламовым в дорогу еще в Якутии или куплена в Иркутске, т. к. в ней содержатся и карандашные наброски «Вагонных стихов», сделанные в пути, и чистовой, чернильный вариант поэмы — вероятно, переписанный уже в посёлке Озерки Калининской области. Карандашом на полях сделаны пояснения: «Гоголь — с портсигара, в вагоне — ни единой книги». В строфе беловика: «Но славу темную Сибири» последнее слово «тюрьмы» вписано позднее карандашом. Чрезвычайно важное значение имеет предшествующая поэме запись в тетради (лист 15):

«Если мёртвые не вернулись — что мы знаем о них?
Если мёртвые не жалуются — как можем жаловаться мы?
Если мёртвые молчат — как можем молчать мы?»

Попыток опубликовать поэму у Шаламова не зафиксировано — возможно, он считал её недостаточно совершенной. В целом биографическая и художественная ценность поэмы вряд ли подлежит сомнению. Сравните описание пути с

Колымы в рассказе Шаламова «Поезд» (1964 г.), отчетливо демонстрирующее иную художественную задачу. Нельзя не отметить, что в том и другом случае Шаламов очень тепло вспоминает Иркутск.

Можно, с большой долей осторожности, предположить, что поэма Шаламова родилась как своего рода полемический отклик на первые главы поэмы А.Твардовского «За далью — даль», которые начали печататься еще в начале 1950-х гг. (ЛГ,1951,21 июня). Поскольку ознакомиться с этими публикациями в условиях Колымы и Якутии Шаламову было весьма сложно, речь идёт скорее о непроизвольном тематическом совпадении, вызванном схожей ситуацией — железнодорожным путешествием через Сибирь. Совпадение размера (четырехстопный ямб) также может быть отнесено к специфике вагонного путешествия с его ритмом, задаваемым стуком колес (при этом изначально Шаламов ориентировался на «онегинский» ямб Пушкина, о чём он прямо пишет).